

Пять дней в Ясной поляне



Токумоти Рока в "Ясной Поляне" в 1906 году

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Тихое летнее утро в России!

Солнце стоит высоко, но оно не сияет ярко, а светит сонным блеском; дальний лес окутан дымкой. Все поле — словно сплошное море белой росы. Откуда-то доносится пение петухов. Людей не видно. Еду в полудремоте, покачиваясь в телеге. Вдалеке за ржаным полем — церковь, выкрашенная в голубой цвет. В одном часу езды от станции — небольшая деревня. Это Ясная Поляна. По обеим сторонам тянутся низкие домики, крытые соломой и дранкой. На широкой улице растет трава. Залаяли собаки. Босоногие деревенские мальчишки стояли и глазели на нас. Телега спустилась с холма, на котором расположилась деревня, и мы въехали в ворота. К ним примыкает большая сторожка с высокой зеленой крышей. В сторожке было пусто, ворота, по-видимому, всегда открыты. Налево — пруд в четыре тѣ. Метров сто дорога идет вверх, обрамленная густо растущими зелеными березами, кедрами и липами. Среди этой зелени высится двухэтажный дом с белыми стенами и зеленой крышей; к северу от дома — роща; деревья растут и с других сторон дома, обращенного фасадом на восток. Некоторое время наша телега ехала под яблоневыми ветками, согнувшимися от тяжести зреющих плодов, затем остановилась у входа в дом с западной стороны. Я расплатился с кучером, и телега уехала. Долго стоял я на одном месте. Кругом ни души, в доме тишина. Взглянул на часы — седьмой час...

...Вдруг мне показалось, что кто-то приближается. С трудом подняв отяжелевшие веки, я увидел, что рядом стоит какой-то старик. Я подумал: «Это садовник пришел убирать в саду», — и в то же мгновение увидел лицо, которое нельзя было не узнать. Но не успел я вскочить, как старик быстро произнес: «Господин Токутоми?» — и, улыбаясь беззубым ртом по-детски милой улыбкой, протянул мне руку.

— А-а, вы Толстой? — воскликнул я, поспешно беря его руку.

Рука была большая и теплая.

— Вы, наверно, не получили моего ответного письма? — сказал он.

— Ваш ответ? Нет, я приехал, не получив вашего ответа. А вы получили мое письмо, посланное из Порт-Саида? — спросил я.

— Получил и прочитал. Прежде чем написать вам ответ, я долго думал. Простите! — тут Толстой, похлопывая меня по руке, сказал: — Я не мог поверить вашему письму, потому что оно слишком лестно для меня. Поэтому я долго размышлял над ответом. Но вы мне писали правду?

— Конечно, правду. И именно поэтому, простите меня за откровенность, мне захотелось хоть раз посетить вас. Как ваше здоровье, Учитель?

— Не совсем хорошо. Я знаю, что мне до смерти недалеко. Все страшатся смерти, но смерть — избавление, так что бояться нечего...

Я глядел на его лицо: оно было красноватого оттенка. Дымчато-белые усы и борода, чуть влажные глаза, беззубый рот. Он выглядел старше, чем я думал. А ведь ему уже было семьдесят восемь лет.

Разговаривая, мы отошли от скамейки, где встретились. Лев Николаевич шел впереди, а я следом за ним. Мы спустились по тропинке к другому, маленькому пруду и пошли вдоль берега.

На Толстом была серовато-белая фланелевая блуза, подпоясанная черным кожаным поясом, широкая белая шляпа. И весь он, с палкой в руке, был в точности такой, каким я его видел на фотографиях и каким я его себе представлял.

Лев Николаевич расспрашивал меня о моем старшем брате, который десять лет назад навестил его, затем спрашивал о Фукаи. После этого мы заговорили о нем самом. Он рассказал:

— Пусть мне осталось недолго жить, но я буду работать до последнего мгновения. Сейчас я работаю над произведением о взаимоотношениях правительства и народа. Рукопись уже наполовину закончена.

Меня он расспрашивал о современном политическом положении Японии, о соотношении между сельским хозяйством, промышленностью и торговлей.

— Сила страны — в тружениках, которые сами возделывают землю, не пользуясь чужим трудом, — так излагал он мне свои взгляды. — А что, в Японии крестьянские сыновья тоже продают свою землю и уходят в город учиться? — спросил он меня.

Когда я утвердительно кивнул головой, он повернулся ко мне и сказал:

— А почему бы вам не пожить жизнью сельского труженика?

— Я очень люблю крестьянский труд, сейчас у меня нет ни клочка земли, но все же я намерен вести полукрестьянскую жизнь.

Мы повернули от пруда и пошли к дому по тропинке, еле заметной в траве. Трава была расцвечена белыми, желтыми, красными цветами лютика, ветряницы, дикой гвоздики.

Поблизости какой-то старик только что закончил точить косу. Лев Николаевич обменялся с ним двумя-тремя словами, бросил палку, взял у деда косу и принялся косить траву. Я тоже взял косу и неумелой рукой попробовал косить — взмахнул косой раза два-три.

Чуть подальше под деревом, на скамейке, двое детей лет шести — восьми играли под присмотром няни. Это были внуки Толстого. Он поцеловал каждого.

— Мое почтение, — сказал я по-русски и пожал им ручки.

— Мое почтение! Очень хорошо! Очень хорошо! — улыбаясь, сказал Толстой.

Незаметно мы вышли на площадку около дома. Земля здесь была посыпана белым песком. Две-три клумбы, и на них красивые цветы сверкали на солнце яркими красками. Под ветками клена в тени стоял длинный стол, накрытый белой скатертью. На столе шумел серебряный самовар, расставлена была посуда, сливки, хлеб, тут же лежала только что полученная почта. Здесь Лев Николаевич представил меня какому-то господину лет пятидесяти, с лысеющей головой. Я заметил, что он тоже был подпоясан черным кожаным поясом. Это был Маковицкий, доктор, родом с австрийской границы. Во время войны он работал в военном полевом лазарете, затем долгое время жил в семье Толстого.

После просмотра почты Лев Николаевич протянул мне небольшую книгу в желтом переплете.

— Как жаль, что вы не умеете читать по-русски! Это очень интересная книга, написана она крестьянином Бондаревым, ее название «Труд».

Эта книга была переведена на английский язык, но сейчас у меня в руках было русское издание с предисловием Толстого.

— А разве она не запрещена в России? — спросил я.

— Была запрещена, но сейчас разрешили, — сказал Толстой. Потом, показав мне на домик, стоявший среди берез, добавил: — Живите вот в этом флигеле и ни о чем не беспокойтесь. — Пожав мне руку, Толстой ушел к себе, чтобы поработать до обеда...

КУПАНИЕ В ВОРОНКЕ

После завтрака я ушел к себе во флигель. Неожиданно, распахнув дверь, вошел Толстой.

— А, книги... Какие у вас книги?

Я показал ему разложенные у меня на столе книги. Тут лежали Библия, «Четверокнижие» в карманном издании, стихи Байрона, сборник «Горная хижина», путеводитель по Палестине. Толстой раскрыл «Четверокнижие» и спросил:

— Что это такое?

— Мэн-цзы.

— Мэн-цзы, Мэн-цзы... Я больше люблю Мо-цзы, чем Мэн-цзы. Приходится пожалеть, что Мэн-цзы недостаточно глубоко познал подлинный смысл учения Конфуция и оспаривал Мо-цзы. Вы любите купаться? Я сейчас хочу пойти. Нет, не в пруду. Тут поблизости есть река, сейчас там строят плотину, нужно немного подальше пройти. Идемте?

Лев Николаевич стоял с полотенцем, повязанным вокруг пояса. Я быстро переоделся в летнее кимоно и пошел за ним. Мы отправились к яблоневому саду мимо того берега пруда, где мы впервые встретились. Я еле поспевал за ним. Стараясь не задеть за колючую изгородь, мы пролезли через отверстие и разговаривали при этом обо всем, что приходило в голову.

В овраге за деревней Ясная Поляна нам встретились два странника, обутых в опорки, с палками в руке и котомками за плечами. Толстой остановил их, немного поговорил, затем вытащил из-за пазухи кошелек и дал этим совершенно незнакомым людям немного денег.

Мы поднялись на холм и, идя по дороге, вошли в глубь густого зеленого леса. Я шел позади Толстого.

— Учитель, мне хочется вас кое о чем спросить. Вы молитесь?

— Да, каждое утро. Я написал книгу: «Разум, вера и молитва». Да, я каждое утро молюсь.

Беседа перешла на тему о духовной жизни Японии.

— Япония в духовном смысле находится в периоде исканий, — сказал я. — Тяжело и грустно, что бывают войны, но война как-то настраивает людей на серьезный лад. Люди находятся на грани жизни и смерти и вновь обретают свою подлинную сущность. К примеру, все, кто участвовал в последней войне, начиная с Того, кто испытал бедствия войны, хотя и не стали истинными христианами, не все же стали более верующими, серьезными людьми.

Толстой обернулся, блеснув глазами.

— Нет, я думаю иначе. Даже если такие люди, как Того, и стали верующими людьми, то все же их вера не глубока, разум они считают решающим, но он не может схватить сущность вещей.

Затем, повернувшись ко мне, добавил:

— У Конфуция есть такое изречение: «В словах нужно быть осторожным. Одним словом выражается мудрость или глупость твоя».

Выходит, что он меня назвал глупцом. Хотя я в то время посетовал на него за это, но в глубине души сейчас знаю, что он был прав.

Разговор зашел о современном положении России, о Думе.

Толстой сказал:

— Дума ни к чему, разве вопрос только в том, чтобы передать власть из одних рук в другие? Главное, чтобы не признавать никакой власти.

Я заметил:

— Корень всех бедствий — любовь к деньгам.

Толстой ответил:

— Любить деньги значит любить власть.

Разговор снова перешел на другую тему и коснулся воинской повинности и мира. Я сказал:

— Путь к миру лежит не через Гаагскую конференцию; единственно правильный путь указывает секта духоборов. Если бы все встали на этот путь, не обошлось бы, конечно, без жертв, но они послужили бы благой цели.

— Да, это так. Однако будет плохо, если кто-нибудь из них открыто возьмется за оружие. Любовь в каждом человеке должна быть настолько велика, чтобы она не позволила взять оружие в руки. И в самом деле, кто может подчиниться, если скажут: отрежь голову младенцу? Любовь к ребенку не позволит этого сделать. А при чем тут жертвы?

Этими словами Толстой помог мне избавиться от старого заблуждения. В самом деле, заранее подсчитывать выгоду или убытки от своих поступков, предугадывать результаты, рассчитывать действенность жертв — дело людей, считающих себя мудрецами; простые же люди, ищущие истину, именно потому и ратуют за нее, что она у них в душе, и они не могут поступить иначе.

В это время на дорогу вышла босоногая старуха. Она шла то впереди, то позади Толстого, разговаривая с ним. Вдруг у нее из глаз полились крупные слезы. Толстой успокоил ее, и они расстались.

— Кто это? — спросил я.

— Вы читали, наверно, о народной школе в Ясной Поляне? Муж этой женщины, мой большой друг, работал в этой школе учителем, недавно он умер, она и плакала, вспомнив о нем.

Вскоре лес кончился, и мы вышли на широкую дорогу. Невдалеке нас поджидала повозка, на облучке которой сидела женщина. Это приехала Александра, чтобы подвезти отца. Продолжая разговаривать, мы сели в повозку, Александра заняла место кучера и, помахивая кнутом, стала мастерски править лошастью. Толстой, улыбаясь, сказал:

— Россия и Япония сели в одну повозку, женщина правит лошастью. «Как это необычно», — подумают посторонние.

Немного спустя повозка выехала к реке — один берег ее порос лесом, другой был открытый — и остановилась... Мы вышли из повозки и спустились вниз по склону, заросшему белыми, красными, желтыми и голубыми цветами. Когда мы достигли берега, двое детей поздоровались с нами, затем мы все вместе пошли к реке. Река шириной не более шести-семи кэн текла спокойно меж извилистых берегов; вода в ней была мутноватая. На берегу стояла купальня; рядом сидели женщины. Нужно было найти другое место, и мы снова сели в повозку. Вскоре мы приехали в безлюдное место и сошли на берег. Толстой прежде всего прощупал палкой дно, затем мы разделись. У Льва Николаевича была совершенно гладкая кожа, у меня же мохнатая, поросшая волосами. Мы бросились в воду. В тени деревьев вода была прохладной; нырнув, я встал на дно — оно было каменистое. Хотя я давно не плавал, но поплыл саженьками. Лев Николаевич посмотрел, как я плыву, и спокойно поплыл точно так же. Когда уже пора было выходить, он шутливо сказал:

— Японцы и русские даже плавают одинаково, а вот европейцы не плавают саженьками, плавают вот так, — и он поплыл на манер черепахи.

Я слышал, что река Воронка впадает в реку Упу, которая, в свою очередь, впадает в Оку — приток Волги. О Воронке упоминается в романе «Анна Каренина». Я думаю, что это название взято отсюда...

Мы снова сели в повозку, выехали на шоссе Москва — Тула и повернули домой. На обочине дороги среди деревьев стояли красивые дачи, наверно, московских богачей. Дорогу чинили; несколько пожилых мужиков сидели на обочине и разбивали булыжник. Толстой, взглянув на них, сказал:

— Социализм нужен вот для таких людей...

СЕНОКОС

После обеда все женщины, за исключением хозяйки дома, жены Льва и Юлии, пошли на сенокос. Даже жена повара, недавно оправившаяся от болезни, пошла помогать. Меня тоже пригласили. Мария и Александра, шедшие с нами, — одна в красном, другая в синем платке, — походили на крестьянских девушек.

Когда мы вышли, я увидел двух деревенских девочек, стоявших у входа, они принесли дикую малину, которую собрали в лесу. Хозяйка дома купила у них ягоды. Обернувшись ко мне, Мария сказала:

— Разве вас не удивляет, что они так бедны, а мы богаты?

Мы пересекли яблоневый сад и вошли в лес; в траве цвели маки, подорожники и еще три-четыре вида цветов. И яблоневый сад, и этот лес, и поле — все входило в имение

Толстого. Лес, сады, пастбища, поля составляли более шестисот тѣ, один только яблоневый сад раскинулся на шестьдесят тѣ.

Поляна у опушки леса была сплошь покрыта скошенной травой, на середине росло несколько белых берез. Обе дочери Толстого, жена повара с сыном и школьная подруга Александры принялись ворошить скошенную траву — кто руками, кто косовищем. Пришедший вместе со всеми князь Оболенский сел в тени берез, обхватив колени руками. Мимо проехал верхом на лошади Лев Львович. Улыбаясь, он сказал:

— Очень хорошо, очень хорошо.

Все это напомнило мне сцену сенокоса в романе «Анна Каренина». Я тоже из любопытства, посмеиваясь над собой, принялся работать, стараясь не отставать. Пока я, покрытый потом, усердно ворошил сено, облако закрыло солнце и послышался отдаленный гром.

— Э, сейчас будет ливень, скорее, скорее сгребайте траву.

Мы стали сгребать уже просохшую траву и укладывать в две копны; косы только мешали и били по спине. Некогда было даже обтирать струившийся пот. Наконец я выпрямился, тяжело перевел дыхание; холодный ветерок обдавал, как струя прохладной воды. В лесу стало темно, березы тревожно шумели. Над верхушками деревьев неслась на восток фиолетовая туча, прогремел гром. На лицо упала первая капля, другая...

Мария, слабая здоровьем, первая почувствовала усталость и оставила работу. За ней ушли все, кроме кухарки с сыном и Александры. Я вконец выбился из сил, но продолжал работать: перетаскивал и складывал траву в копны. Пока мы сгребали траву, грозовая туча пронеслась дальше к востоку — дождя не было. Мне стало очень радостно, когда жена повара от всей души поблагодарила меня за помощь.

Мы вышли на поросшую травой межу, видневшуюся среди ржаного поля. Здесь цвели васильки, колокольчики, белая кашка и красный чертополох. На холме, расположенном напротив, поспевала рожь, а вдали, на другом холме, вздымавшемся, как гребень волны, рос густой зеленый лес. После дождя, который прошел стороной, ярко светило солнце, необозримый простор открывался вокруг. То там, то здесь виднелись дома. Я дышал полной грудью.

Яблоневый сад, который сторожил старик крестьянин, не был огорожен забором, только кое-где в один ряд провисала натянутая проволока. Рядом с усадьбой рос лес, посаженный перекрестными рядами, но сам дом стоял в лесу, к которому примыкало поле. В этот лес могли свободно ходить все, кому хотелось погулять, и даже охотники. Мне приятно было узнать, что летом в густой траве здесь не водится змей. Подойдя к дому, я увидел двух нищих, стоявших у входа. Как раз в это время вышел Толстой, немного поговорил с ними и, как и в прошлый раз, вытащил кошелек и дал им денег.

ВЕЧЕР НА БАЛКОНЕ

Вчера вечером Толстой показал мне танка, сложенную его величеством императором Мэйдзи и опубликованную в журнале в английском переводе.

Им нет от нас пощады,

Им, ненавидящим наш край,

Но, смерть неся врагам,

Их силе и отваге

Ты должное отдать не забывай.

Он спросил меня:

— Как можно объяснить это несоответствие между словами императора и его действиями?

В ответ я прочитал еще две танка императора:

Все дети на войне.

Нет никого.

Остался лишь старик,

И он один

Хранит поля и горы.

Среди листвы, и нежной, и зеленой,

Проглядывает небо в дымке голубой.

О небо! Как желаю я,

Чтоб сердце сравнилось

В чистоте с тобой.

После этого беседа перешла на поэзию. Я рассказал, что в Японии, кроме таких песен, есть еще так называемые хокку, в которых семнадцатью слогами можно выразить и глубокую идею, и тонкий смысл.

— Интересно, прочитайте.

— Я прочту вам короткие стихотворения, выражающие глубокую мысль. — Отступив немного в сторону, я, к удивлению Толстого, стал на память читать многие танка и хокку. Каждое из этих стихотворений имело свое содержание, но я странным образом не мог в эту минуту вспомнить ни одного, где бы выражалась глубокая возвышенная идея.

Вернувшись к себе, я пожалел, что напрасно пытался удивить Толстого глубиной мысли нашей поэзии, лучше было бы расспросить его о его мыслях и почтительно слушать.

Сегодня, когда вошел Илья, только что вернувшийся с косьбы, я спросил его, может ли Лев Николаевич еще раз поговорить со мной. Илья провел меня на второй этаж. Мы прошли через залу, в которой висело множество картин, через кабинет Толстого и вышли на балкон. Балкон находился рядом с комнатами Льва Николаевича и его жены. Он был открытым и выходил на восток. На перилах балкона шириной в два сун стояли в ряд три глиняных горшка. Лев Николаевич в это время поливал растения водой. В одном горшке из мандаринового семечка уже пророс стебелек с двумя листочками, в другом — оболочка семечка еще только лопнула и торчал изогнутый росточек, а в третьем — в земле лежало белое, едва лишь набухшее семя. Толстой показал на них пальцем и с улыбкой сказал:

— Люблю смотреть на это. Жизнь, жизнь... Я вижу развитие жизни.

По моей просьбе из кабинета была принесена книга. Я стоял, опершись на стул. Дверь в кабинет была завешена тонкой металлической сеткой: Толстой не любил мух. «Привычки старшего брата Левина из «Анны Карениной» были на самом деле привычками самого Толстого», — подумал я.

Толстой раскрыл немецкую книгу, в которой некоторые места были отчеркнуты им синим карандашом. Это были стихи немецкого поэта первой половины XVII века — монаха Ангелуса Силезиуса (подлинное имя которого — Вильгельм Бурш).

— Очень интересно, послушайте! — Он стал читать некоторые двестишестидесятилетия, переводя их с немецкого на английский язык. Несколько раз он звал графиню, которая шила на балконе при вечернем свете. Она пришла, захватив с собой шитье. Софья Андреевна слушала английские стихи, продолжая при этом шить. Она сказала, что немецкий знает лучше, чем французский и английский.

<...>Беседа переключилась на древних и современных философов. Вошедший во время беседы Лев-сын сказал, что он любит Эмерсона.

Тут вошли два господина, один — лет пятидесяти; другой — тридцати. Это были знакомые, партнеры Толстого по шахматам. Тотчас принесли шахматную доску, и Толстой стал с увлечением играть. Я отошел в сторону и тихо беседовал с графиней.

— Русские военнопленные, — сказала она, — все, как один, говорят, что японцы хорошо с ними обращались. Раненые очень благодарны за доброту и внимательность японских врачей и сестер. Военнопленные говорят: «Японцы хорошие...» Чувства людей повсюду одинаковы. — И в пояснение добавила: — Когда японские военнопленные были в России, они плакали при виде русских детей, вспоминая о своих. Смотревшие на них женщины-крестьянки тоже начинали плакать. Да и наши русские военнопленные в Японии тоже плакали при виде детей...

Разговор коснулся современного положения России.

— Взгляды моего мужа сейчас не в моде. Повсюду только и шумят: революция, революция. Бунтарский дух проник даже сюда, в яснополянскую деревню. Я просто боюсь, как бы и на наш дом не напали, — говорила она, и в ее словах звучали не шутливые нотки. Затем переменяла тему разговора.

— Муж уже стар, так что весь дом на мне. А у меня уже слабое сердце. Времени свободного не бывает ни минутки. — Неожиданно она поднялась. — Это я на зиму сушу для мужа. — Она стала перебирать малину, чтоб не отсырела от вечерней росы; затем села и продолжала шить при слабом свете без очков, приблизив близорукие глаза к шитью.

Гости, не стесняясь, спросили графиню:

— Это правда, что ваша свадьба произошла точно так, как у Кити в «Анне Карениной»?

— Да, вы, вероятно, знаете, мне было тогда семнадцать лет, а мужу — тридцать четыре. Лев Николаевич, подружившись с моей матерью, часто посещал наш дом. Однажды он мне написал мелкими одними заглавными буквами, как это рассказывается в романе: «Вы юная, а я же не молод. Я боюсь, что не принесу вам счастья. Согласны ли вы стать моей женой?» Я все поняла и сразу же согласилась. Лев Николаевич был очень счастлив. Я ведь его тоже очень любила. Ну и хорошо, что согласилась...

Все засмеялись.

ДЕМОН В ДУШЕ

После обеда Толстой вошел раздосадованный, держа в руке хлыст.

— Сегодня не придется работать, как я хотел, поэтому поеду сейчас верхом купаться.

Спросите дорогу у домашних и приходите к четырем часам.

Я вышел из флигеля.

Шагах в ста на юг от флигеля находится еще один большой двухэтажный дом с белыми стенами и зеленой крышей. Теперь в нем жила семья Льва-сына. Это, по-

видимому, был тот самый дом, который я старался разглядеть из окна вагона в день приезда. За домом — открытое поле. Рядом у подножия холма — конюшня. Несколько мужчин, пожилых и молодых, готовили для Толстого к выезду верховую лошадь. Прямо, напротив, виднелась бедная дереvушка — Ясная Поляна.

— Вы, наверное, знаете взгляды нашей семьи? — спросил Толстой, и лицо его помрачнело. Я давно знал, что он хочет поделить землю между крестьянами, но жена и дети против этого. Толстой не управляет имением и живет в этом доме как старый, пользующийся почетом нахлебник.

— Если я истинный христианин, значит я не должен иметь собственности. В последнее время я не получаю никакого дохода за свои произведения, но у меня есть несколько пьес, и за их исполнение театры присылают деньги. Мне говорят, что если я их не возьму, то их истратят на балет. Кроме того, мне до сих пор друзья с разных концов страны присылают деньги для бедных.

Таким образом я узнал источники дохода Толстого. Толстой, полубоьбясь, полуправдываясь, продолжал:

— Меня часто осуждают за то, что моя жизнь не соответствует моим убеждениям. Но пусть осуждают, я должен это переносить как христианин...

Небо над деревней прояснилось, в разрывах темных туч показалась голубизна. Края туч отливали серебром, а стволы берез — бело-розовым блеском.

Взглянув на это, Толстой прошептал: «Ах, как красиво!»

Оседлав крупную, хорошо упитанную гнедую лошадь, конюх вывел ее, но она не давалась. Тогда один из конюхов легко вскочил в седло, проехал два-три круга, слез и предложил ее Толстому. Он вставил ногу в стремя, легко вскочил в седло и поехал по зеленой тропинке, помахивая хлыстом.

Позавчера Толстой купался, сейчас ехал верхом. Как радостно видеть его здоровым и бодрым, хотя сам он и говорит, что близок к смерти. Этот бунт, недоверие, гнев, чувствовавшиеся в его словах, набежали черной тенью и омрачили его душу. Как? Неужели Толстой может так роптать и жаловаться? А может быть, оправдываясь, он лукавит? Может быть, его опрощение — только прихоть аристократа? Да, он — Толстой, и в то же время — сын человеческий, привыкший мириться с противоречиями... Но вдруг, набегая, как черные грозовые облака, его душу омрачают чувства недоверия, бунта, недовольства и неудержимым потоком прорываются наружу. У человека с такой сильной индивидуальностью поневоле много странностей.

СОБЫТИЯ ОДНОГО ДНЯ

3 июля

Четвертый день живу я в этом доме. Жизнь здесь мне нравится. Вот один из летних дней в Ясной Поляне.

Несмотря на то, что в России летом светает рано, в доме Толстого спят до семи часов. Раньше всех встают дети — ежедневно рано утром они ходят на станцию Засака за почтой. На столе под кленом стоит самовар, чашки, горшок со сливками, хлеб и тарелки, прикрытые от мух салфеткой.

Во время завтрака каждый приходит, когда захочет, и уходит по своему усмотрению. Толстой с графиней к завтраку приходят редко. До полудня обычно Толстой занят важными делами.

Второй завтрак в двенадцать часов. В саду на суке огромного вяза висит небольшой колокол. Как только он прозвучит, с разных концов собираются члены семьи. Лев Николаевич приходит не всегда, но хозяйка обязательно. Мужчины здороваются за руку, женщины целуются. Даже во время второго завтрака никто не прислуживает — все чувствуют себя совершенно свободно.

Время после завтрака используется для прогулок: кто садится на лошадь, кто на велосипед, одни идут купаться, другие — прогуливаются, сопровождаемые собаками.

Толстого по ночам мучает старческая бессонница; в ночь он просыпается по пять-шесть раз. Поэтому после второго завтрака, вернувшись с прогулки, он обычно час спит. Старый князь Болконский говорил, что сон перед обедом — золотой.

Колокол на обед звучит в пять или шесть часов. К столу собирается вся семья. Слуги прислуживают за столом во фраках. Обычно к обеду подается небольшая закуска. Лев Николаевич и остальные мужчины одеты просто, женщины к обеду тоже не переодеваются.

После обеда одни идут гулять, другие — играть в теннис.

Как только зажигаются огни, звуки колокола зовут к вечернему чаю. Собираются обычно на веранде. Подается чай, сладости, вишня, малина. Женщины приходят, захватив какое-нибудь рукоделие, мужчины — книги. Все непринужденно беседуют. Иногда беседа за чашкой чая затягивается до десяти часов, а иногда и позже. Так проводят время и при гостях, и без гостей. Пришедшим не отказывают в приеме, не задерживают и тех, кто захочет уйти: жизнь подобна течению воды или дуновению ветра. Всюду непринужденность, радушие и искренность. Отношение к гостям, к слугам, к деревенским жителям, друг к другу — естественное, без притворства и принуждения, любезное и сердечное.

— Как видите, мы живем просто, — сказала графиня,

— Можно только позавидовать такой жизни, — ответил я.

— Однако есть одно «но», — произнесла Мария.

— Никакого «но», — воскликнул я, — завидую жизни простой и естественной.

...Старик очень много работает. Вот и сегодня при нем были серебряные часы на короткой металлической цепочке и записная книжка с вложенным в нее карандашом. Эти две вещи и кошелек он всегда носит с собой.

— Читали вы письмо Эффенди? — спросил он меня.

— Читал. Нужно радоваться, что повсюду люди пробуждаются...

— Да, это очень радостно, очень радостно, — кивнул он с довольным выражением лица.

Я поздоровался с поджидавшей нас графиней и вслед за Толстым пошел в рощу, свернув с дороги. В роще росли молодые дубки и березы. Блики солнца и тени падали попеременно, яркая июльская листва бросала зеленый отсвет на одежды.

— Я люблю гулять в этом лесу, — промолвил Толстой.

Через некоторое время разговор наш перешел на русских писателей.

— Кого из современных писателей-романистов вы больше всех цените? — спросил я.

— Достоевского. Читали вы Достоевского?

— Да, читал его роман «Преступление и наказание».

Толстой одобритительно кивнул головой и заметил:

— Очень хорошая книга.

— А как вы относитесь к Тургеневу? — спросил я.

— Тургенев пишет красиво, но он неглубок.

— А Гончаров?

— Этот тоже.

— А как вы относитесь к Горькому, Мережковскому, Чехову?

— У Горького талант есть, но нет образования, а у Мережковского есть знания, но нет таланта. А вот Чехов — это большой талант. У всех троих, к несчастью, нет проникновенного взгляда на человеческую жизнь, — и затем добавил: — Чем читать Мережковского, лучше почитайте Аксакова и Хомякова. Это крупные писатели — русофилы. Но, по Аксакову, будущность России основывается на трех принципах — самодержавии, православии и народности. Это значит уже слишком далеко зайти в патриотизме.

Тема разговора переменялась. Мы стали говорить о произведениях Толстого.

— Какое свое произведение вы любите больше всего?

Подумав, Толстой ответил:

— Роман «Война и мир».

— Это, наверное, потому, что в основу взята подлинная история России?

— Конечно. И все-таки там есть слишком уж патриотичные места.

Мы уже вышли из рощицы, прошли лес и вышли на тропинку, ведущую к дому, когда наша беседа переключилась на европейских писателей. Толстой неожиданно остановился и заговорил:

— Вы тоже писатель. Послушайте мои слова. Не говорите того, о чем вы можете не сказать. — Он взял палку, начертил на земле круг, провел по направлению к кругу две-три лучеобразные линии и продолжал: — В каждой истине можно найти точку. Вы посмотрите на человека с одной стороны, затем с другой. Если у вас есть наблюдения, еще не открытые никем, если есть своя точка зрения — хорошо, если нет — тогда лучше молчите. Иначе, что бы вы ни говорили, о чем бы вы ни писали — будете ростом с самого себя. — И Толстой руками изобразил карлика. — Свет, может быть, и будет вас хвалить, но истине это не принесет никакой пользы. Говоря так, — добавил он, — я имею в виду самого себя. Меня хвалили за мои старые произведения, но теперь я вижу, что это только клочки бумаги. Я верю, что мои теперешние религиозные, философские и общественные труды не совсем бесполезны.

Мы уже подошли к флигелю, и на этом драгоценный для меня разговор закончился.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

4 июля

Сегодня Сухотины — отец и сын — уехали. Я тоже собрался завтра уезжать. Послезавтра свадьба старшего сына, так что оставаться здесь мне больше неудобно. В первое время по приезде я подумывал о том, чтобы снять комнату в деревне Ясная Поляна и, если позволят обстоятельства, прожить, по крайней мере, все лето. Но теперь это уже лишнее: увидеть Толстого, обменяться с ним хотя бы одним словом — этого уже достаточно. «У каждого человека своя дорога к небу», мой путь теперь лежит в родной край.

Передавая пожелание Толстого, Мария сказала, чтобы я ни о чем не беспокоился и оставался. Графиня также добавила:

— Дочь еще не прислала телеграммы, так что побудьте еще немного.

Услышав о моем твердом решении уехать, вошедший в этот момент Толстой спросил:

— Почему вы так быстро уезжаете?

— Даже если б я прожил здесь десять лет, это время не показалось бы долгим, но и пять дней — это немало. Если б я последовал своему желанию, то навсегда остался бы в этом доме. Однако я не могу не ехать. Я должен решить свои задачи и приложить к этому все силы. Я должен выполнить до конца свой долг. До сих пор я только мечтал, но не жил по-настоящему, а теперь, возвратившись домой, я начну деятельную жизнь. Если мне понадобится ваше наставление, я напишу вам письмо. Не откажите мне в слове поучения.

Толстой промолчал, ничего не сказав в ответ.

БАЛКОН И КАБИНЕТ

Солнце садилось. Каждая минута моего пребывания здесь была для меня драгоценна. Толстой выглядел очень усталым, и я подумал, что еще больше утомлю его своим посещением. Я уложил свои вещи и вышел. Из дома доносились звуки фортепьяно. Должно быть, дочь Александра играла отцу. Я долго ходил взад и вперед по двору; наконец вышел Толстой и пригласил меня на балкон. Там на стуле лежала раскрытая английская книга. Это была книга о Бирме. Мы стали говорить о переводах «Анны Карениной» и «Воскресения» на японский язык. Я рассказал Толстому о переводе на японский язык его произведений, написанных после его «второго рождения», начиная с «Моей веры», затем я сообщил ему о возникшем в Японии движении «Самоотверженная любовь». Толстой, в свою очередь, рассказывал о пробуждении персов, которые подвергаются гонениям, и расспрашивал меня о жизни христиан в Японии. Толстой считает, что пантеизм не должен быть отброшен. Он взял в руки русскую книгу.

— Эта книга составлена мною. Здесь собраны золотые слова, которые нужно помнить постоянно. Каждому дню — свое поучение. Посмотрите! Здесь есть изречения из Евангелия, из Герберта Спенсера; кое-где я изложил и свои взгляды. Каждое утро я читаю это и молча обдумываю. Это как бы моя молитва. Послушайте! Ваш день рождения двадцать пятого октября? К сожалению, издана только первая часть этой книги, которая кончается тридцатым июня.

— Я приехал в ваш дом тридцатого июня, поэтому я хотел бы послушать, какое поучение относится к этому дню.

Толстой кивнул головой, полистал страницы и прочел некоторые записи...

...На балконе солнце уже померкло, и в кабинете было темно. Толстой спросил меня о моих планах на будущее. Затем, сказав, что он подготовит для меня рекомендательные письма, зажег небольшую зеленую лампу и сел писать. С разрешения хозяина я остался в кабинете. Я огляделся. В кабинете площадью в десять татами стояли два почерневших стола, из них один из красного дерева, два стула, в углу — обитая черной кожей софа. На стене небольшая книжная полка. Среди книг, лежащих в беспорядке на столе, виднеются буддийские сочинения и «Психология социализма». На стенах много портретов; на одной из них висит составленная из пяти отдельных частей картина «Сикстинская мадонна».

Некрашенный пол... Сюда, в это уединение, жена привезла ослабевшего после болезни Толстого, чтобы жить вместе на покое. Тихий, удобный кабинет!

Я взглянул в лицо Толстого при свете лампы. На макушке волосы поредели, пепельно-белые волосы, склоненный над столом лоб в глубоких морщинах, широкие густые брови насуслены. Тяжело переводя дыхание, он скрипел гусиным пером. Подумать только, в будущем году ему исполнится восемьдесят лет. С годами он, великий провидец, все больше стареет, а у него внутри пламя все разгорается. Мне захотелось, чтобы люди в почтении склонились перед ним, чтобы они, как и я, пролили слезы благоговения.

Толстой закончил писать рекомендательные письма для меня: одно — в Санкт-Петербург, два других — в Москву, и положил перо. Затем он взял в руку лампу, поднял повыше и стал пояснять мне каждую из висящих на стене картин. Здесь висел портрет Генри Джорджа, портрет умершего несколько лет назад старшего брата Толстого, портрет покойного Гаррисона — первого проповедника идей непротivления в США. Этот портрет был прислан Толстому сыном Гаррисона. Под портретом висел написанный масляными красками портрет какого-то мужика с веселым выражением на лице. Я спросил Льва Николаевича о нем.

— Это мужик, который не прочел ни одной книги, но отличался глубиной мудрости. Зовут его... к вечеру память у меня ослабевает... не вспомню...

Вероятно, он был из крестьян типа Бондарева и Сютаева.

— Вы, наверное, любите Рафаэля, раз повесили «Мадонну»?

— Нет. Это мне подарила моя старшая сестра. Она сейчас в монастыре. На мой взгляд, это все неверно, — ответил Толстой и засмеялся.

Наш разговор от Рафаэля перешел на статью Толстого «Что такое искусство?».

— Вы, наверное, и сейчас придерживаетесь тех же взглядов?

— Да.

— Настоящее искусство должно взывать к лучшим чувствам человека...

Толстой, не дав закончить, прервал мою фразу:

— Да, обычно так и понимают. — Он погасил лампу, и мы еще некоторое время сидели на балконе при вечерних сумерках.

Я от всей души поблагодарил Толстого за гостеприимство и извинился, что, не зная языка его родины, затруднял глупыми вопросами на ломаном английском языке. Пожав его руку, я сказал:

— Учитель, берегите себя. Вы как-то сказали, что смерть — избавление, но я прошу, не торопите час этого избавления. Вы сказали, что пока живы — будете работать до последнего мгновения, но, Учитель, берегите свое сердце. В Японии, которая была врагом России, в стране, люди которой проливали русскую кровь, появились люди, следующие вашему учению, и повсюду появится еще больше таких людей. Вы осветили путь для всего мира. Позавчера вы сказали, что вам двадцать восемь лет, тогда такие, как я, всего лишь младенцы или еще только сейчас нарождаются. Жизнь развивается. Я буду молиться за ваше здоровье и благополучие, чтобы вы указали вашим учением дорогу к свету.

Толстой крепко пожал мне руку. Ответа его я не записал.